

Галина Щербакова

Жизнь прекрасна!

А то! Она трогает руки, ноги, вертит шеей и встает, переполненная желанием есть эту жизнь с жадностью и со вкусом.

От ее оптимизма меня с души воротит. У меня есть противоположный опыт. Я снимала комнату с барышней, которая с утра выла — кто это придумал вставать рано, как у нее болят суставы, голова и шея, и она тянула такую тоску на раннее вставание, на это чертово женское равноправие, при котором она, тонкая и звонкая, вянет на корню, что становилось тошно.

И я ушла от нее. Сделав ей счастье. На мою койку лег демобилизованный сын хозяйки — пока барышня не найдет квартиру. А они возьми и сладься. Он был вполне ничего, хозяйкин сын.

Ну, да бог с ним, с этим далеким, далеким прошлым. Мужа у меня нет, а вот квартирка есть, угловой такой огрызок, но свой, отдельный. Как же я блаженствовала первое время в одиночестве, не веря этому счастью — закрыть за собой собственную дверь.

И мы с ней, оптимисткой, сошлись на этом счастье владения крышей над головой. Своей, несъемной, законно полученной. Вот тогда я

впервые услышала эту ее присказку: «Пока ноги-руки шевелятся, а буркалы смотрят, жаловаться грех. Жизнь прекрасна!» Мне даже это нравилось в ней. «Мне бы так, — думала я, — вечно у меня куча проблем при ходячих ногах». Наш этажный пяточок благодаря ей сиял всегда. Мы, народ с площадки, невольно подтягивались к уровню чистоты ее резинового коврика.

Она одна из первых, взяв огромную клетчатую сумку, поехала в Турцию за тряпками. Мерзла на рынках возле кольцевых станций метро. «Заработаю на машину, буду бомбить на дорогах. Руки-ноги есть». Она до того достала меня наличием рук и ног, что мои собственные стали казаться мне уродливыми никчемными отростками. Получалось, ничего они не умеют. И я мысленно оправдывалась перед ней, живу, мол, на свой счет, не побираюсь. А машина мне на фиг не нужна. Я перед техникой робею, даже садясь в такси. Возвращаясь из поездок, она звонила мне снизу, если не работал лифт, и я помогала тащить ей сумки, не представляя, как она сама с ними справляется.

— Ты слабачка. Нельзя такой быть. Если руки-ноги есть, то они свое дело сделают.

На площадке она жарко благодарила меня, а потом приносила мне подарок. Мяукающую чашку

там или блузку с прошвами, набор кухонных полотенец. Я вижу, что ей доставляет удовольствие дарить мне, неумехе-чертежнице, у которой шаром покати ничего такого нет. Ни в квартире, ни на себе, ни в холодильнике. Все сокровище — шкаф с книгами.

— Читать будешь в старости, — учит она меня. — Тут тетки ищут продавщицу на лоток. Они возят — ты торгуешь. Купишь у них со скидкой себе и пальто, и обувь.

Мне страшно от одной этой мысли, хотя возможность безработицы в моем тресте тоже маячит не слабо, но я клянусь ей в полном своем порядке, а она с иронией озирает мои полупустые стены. В эти минуты я ее ненавижу, она это сразу чувствует и уходит, и последний ее взгляд полон самой что ни есть сердечной жалости.

Но даже не принимая ее жалость (она же, сволочь, унижает!), я отношусь к ней хорошо. Время разделило меня с моими однокурсницами из строительного, кто-то взлетел в Швецию, кто-то в Германию, кто-то на Рублевку, кто-то резко поменял профессию. Курс оказался успешным. Осталась одна она — своя, через стеночку, без гонора и сочувствующая. Почему мне, похоронившей маму и забытой отцом, казалось, что она сирота? Что нас роднит одиночество крови, только проявления его разные — у меня смирение